

ЗАПИСИ и ВЫПИСКИ

от А до Я
(часть 1)

АВАРИЯ

«Христианство, а потом раскольников начинались в расчете на скорый конец света, а потом переходили на аварийный режим: это и был мораторий страшных судов».

АДАМ

В начале XVIII в. объявили, что нашли список сочинений Адама, и среди них – «Всемирную историю».

АНЕКДОТ

Я сказал сыну: я – тот козел, которого в анекдоте вводят в тесную комнату, чтобы потом выгнать, и людям стало бы легче. Сын, хоть и привыкший ко всему, сказал: «Никогда не мог подумать об этом с точки зрения козла!»

БЛАГО

Во благоприсноувеселении и во всяких присноденственных благоключимствах с благопрозябшими от тебя чады твоими благодетельми моими во многочисленные веки здравствуй. (Письмо 1695 г. из Азовского похода).

А местный священник даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов Божьих. Но Марья Петровна и сама знает, что она хорошая женщина (Щедрин).

BILDUNGSROMAN

Считается, что развитие личности пришло в литературу с христианством: обращение преображало человека. Однако такое преображение было уже у Светония: приход к власти изменял Августа и Тита к лучшему, а Тиберия и Домициана к худшему. А есть ли развитие героя в «Гэндзи», где он все время движется по служебной лестнице и меняет именованья? (Римляне открыли понятие карьеры, - сказал В.Смирин, - афинянин к каждой новой должности шел от нуля, римлянин от предыдущей должности».) Для Бахтина, конечно, нет, а для японца?

БОГ

Добрая старушка, умирая, говорила: «Да будет вознагражден Господь Б. за его милости ко мне» (Вяземский)

В.В.Розанов одним и тем же инициалом обозначал Бога и Боборыкина.

В кружке Н.Грота и Вл.Соловьева тайным голосованием решали, есть ли Б.; большинство было в один голос (Письма Вл. Соловьева).

Воспоминания С.Соловьева, поэта: «Видел во сне Бога, он похож на тетю Любу, в зеленой шубе, и играл на скрипке». Люб. Серг. Соловьева была необъятная молчаливая эротоманка.

«Пора не о человеке, а о Боге подумать». А Ему это нужно? тогда я готов. Но если бы я был Богом, я не хотел бы, чтобы обо мне думали. – Так рассуждал ЭПИКУР.

БАЗАРОВ

Ю.Даниэль говорил: «Чем же плохо, что из человека будет лопух расти? Большой сочный лопух, которым прикроет голову от солнца красивая женщина».

ВЕРА

В «Соврем. идиллии» Редедя рассказывает о Египте: арабы верят в аллаха, а феллахи – во что прикажут. Точно таково было государство и у Платона и у св. Владимира.

ВНЕШТОРГ

был при Петре, ГПУ при Малюте, колхозы при Аракчееве, комсомольцы и выдвиженцы образовывали служилое сословие, а запрет на выезд был и при Грозном, и при Николае I (В.Вейдле).

...

(Из Г.Грасса, конспективный перевод):

Пророки сидели по тюрьмам.
Саранча летела и села.
Наступил экономический кризис.
Тут вспомнили про мед и акриды.
Пророков выпустили на волю.
Их было три тысячи триста.
Они говорили речи,
Утоляя голод саранчою,
А народ их трепетно слушал.
Скоро кризис был ликвидирован,
И пророков вернули в камеры.

ГЕРБ

Сын сказал: гербом Москвы был, собственно, не св. Георгий, а «московский ездец» без нимба, чтобы не сквернить святое государственным (сейчас чувства противоположны)...

ГРЕХ

«А какой самый большой грех, по-вашему? – Самосовершенствование, - сказал гнутый, - без боли другому не обходится» (Ремизов, «Мартын Задека»).

Е.В.А. спрашивала знакомого священника (он же библиограф по призванию), с какими грехами люди приходят на исповедь. Он ответил: «Один сказал: накричал на канарейку...»

ГРОБ

(В.Алексеев:) в Китае на гробовых лавках написано: «Товар долговечности».

ДА! –

сказала она с мукой. – Нет! – возразил он с содроганием. – Вот и весь ваш Достоевский! – говорил Бунин Адамовичу.

ДЕТИ

У А.Б.Куракина от разных любовниц было их около 70. Филарет за это отказался от похвального слова над ним.

Отцу новорожденного дают каши перловой с горчицею,

перцем, хреном, солью, уксусом по ложке под сахаром, чтобы несколько помучился, как роженица. (А.Терещенко, Быт русского народа). Родители крещаемого не присутствуют при крещении. (Почему?) - спросил некто. «Должно быть, чтобы совесть не зазрела», - отвечал священник. – Вяз.)

М.Цветаева (по Белкиной): вначале дети родителей любят, потом дети родителей судят, потом они им прощают...

ДОН

Что было награблено Наполеоном, то было отграблено и пошло на Дон.

ДУРАК

закричал попугай; солдат вытянулся и ответил: виноват, ваше благородие, я думал, что вы птица.

ДУХОВНОСТЬ

«Что такое духовность? – Это когда нет и хлеба единого» (И.О.)

ЖЕНИТЬБА

Пал. Ант., VII, 309:

Шесть десятков прожив, здесь я сплю, Дионисий из Тарса.

Сам я не был женат. Жаль, что женат был отец.

Ср.: «Я бездетный. Это наследственное. Бабушка была бездетная, мать бездетная...» Откуда же вы? «Я из Минска».

ЖИЗНЬ

Рассказ в НЖ 3 (1942): записка самоубийцы: «В жизни моей прошу никого не винить».

ЗЛОБА ДНЯ

(Б.Нольде, «Далекое и близкое»). В начале 1913 г., отделив Монголию от Китая, русские поручили буряту Джамсаранову издавать в Урге газету. В первом номере было написано о земном шаре, частях света, молнии и громе, формах правления, русско-монгольском договоре и пр. Номер бурно раскупался, потребовалось второе издание, а ламы жаловались хутухте, что круглая земля – это ересь.

ИМЯ

Консула 169 г. звали: Кв. Помпей Сенецион Росций Мурена Секст Юлий Фронтин Силий Дециан Гай Юлий Еврит Геркуланий Луций Вибулий Пий Августин Альпин Беллиций Соллерт Юлий Апр Дуцений Прокул Рутилиан Руфин Силий Валент Валерий Нигер Клавдий Фуск Сакса Урутиан Сосий Приск (Фридл., р.п. 114).

...

Вот дуб. На нем могла б сидеть ворона,
Приподымая черненький лоб.
Однако не сидит. Так в чем же суть закона?
Не все бывает, что могло б.

КОММУНИЗМ

По Бабефу, кто работает за четверых, подлежит казни как заговорщик против общества.

КТО О КОМ

...

Ходасевич считал, что поэзия – это не вещание всемирных истин и тем более личных страстей, а это изготовление зеркала, чтобы, заглянув в него, увидеть свое ничтожество. Это орудие нравственности в мире без бога...

ЛИТЕРАТУРА

Пятница так объяснял Робинзону, какая религия у его племени: надо взобраться на самую высокую гору и крикнуть: «О!»

ЛЮБОВЬ

Т.Масарик напоминал: сен-симонисты, чтобы теснее связать человека с человеком и приучить людей к любви, рекомендовали, напр., пришивать пуговицы у шюртуков сзади, чтоб брат брату помогал при застегивании. И все мы с удовольствием пришиваем своим братьям пуговицы сзади, чтобы они никак не могли их сами застегнуть, и т.д.

МУДРОСТЬ

русского народа: формулой ее Лесков считал пословицу: «Гнем – не парим, сломим – не тужим». «Стараться, так всюду, а что выйдет или не выйдет, не наше дело» (Ремизов, «Петерб. буерак»).

«МЫШЕЛОВКА

не бегаешь за мышью. Мышеловка стоит и ждет. Мышь приходит сама». (Из анекдота.)

НАРОДНОСТЬ

«У нас дважды два тоже четыре, да выходит как-то бойчее». Православие» «Если бога нет, то какой же я штабс-капитан?» Для Самодержавия формулу русской классики я пока не смог найти.

НАРОДНЫЙ ЯЗЫК

(volgare): см. у А.Егунова (Николева) в «По ту сторону Тулы» рассказ о петербургском митрополите, который будто бы для привлечения слушателей стал в Казанском соборе служить литургию по-французски, был сослан на Камчатку и там проповедью по-камчадалски на 1 Кор. 13, 1 «если любви не имею...» поднял рождаемость в вымиравшем населении. Но в 1845 г. действительно был проект при одной из церквей Бердичева учредить православную службу на идиш для привлечения прозелитов; отложили, потому что накладно было обучить попов языку и перевести молитвенники.

НАЧАЛЬСТВО

Статья в РМ 1913, после балканских войн: у русского солдата кроме общеизвестных его боевых качеств есть еще одно: неприхотливость к начальству. Это значит: если французским солдатом офицер дурак, то боеспособность солдата падает до нуля, а у русского только вдвое. А. сказала: это относится не только к солдату.

НАЦИОНАЛИЗМ

...Так и современным культурам не хочется растворяться в мировой, и они националистически ругаются.

NATURGEFÜHL

Заболоцкий ужасался, как безобразна бабочка с близкого взгляда. Дневн. Пришвина: «Как трудно птицам небесным: шишки под крыльями, высиживай, таскай червей... Мы можем

любить природу <с тех пор, как> мы больше ее: любим и не спрашиваем о взаимности». Так пейзаж с горами и морями вошел в моду лишь после того, как альпийские обвалы и средиземные бури стали безопасны новым дорогам и кораблям. Точно так же лишь после того, как историзм отделил человека от прошлого, стало возможно это прошлое не спокойно-связно переосмыслить, а эмоционально-прерывисто переживать: появилась романтическая автобиография. Кажется, об этом страхе времени писали меньше, чем о страхе пространства. Я смотрю по сторонам на людей и вещи, как античный человек на природу: как на потенциальную угрозу.

NATURGEFUHL

«Хороши у Господа декораторы» (В.Ж., «Пятеро»). К красоте природы я невосприимчив, но мне всегда казалось, что если бы я мог поговорить с Богом и расспросить его, какие горы и долины было легче делать и какие труднее, то я научился бы что-то воспринимать.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ

... Солон говорил: не называй никого счастливым прежде смерти; ... не называй никого порядочным прежде смерти.

«НЕ СУДИТЕ ДА НЕ...»

Притча Ремизова: во сне ругателю архангел показывает душу ругаемого: куда скажешь, туда и пойдет, в ад или рай. «Нет казни больше, чем судить».

НЕ У НАС

«Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны» (Пушкин...).

НИЧЕГО

Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего (будто бы Сковорода. Кони, III, 214).

НИКОГДА

Ван Гог часто вспоминал египетскую надгробную надпись: «Феба, дочь, Тмуи, жрица Осириса, никогда ни на кого не жаловавшаяся».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

«За невольный грех и бог не взыскивает... Одно слово: обязательное было время» (Мамин-Сибиряк, «Варнаки»).

ОБЕЗЬЯНСТВОВАТЬ

«Француз играет, немец мечтает, англичанин живет, а русский обезьянствует» («Гоголь в письмах и восп.», 1931, 419).

ОБЛИЧАТЬ

М.Салтыков-Щедрин, письма Николая I к Поль де Коку. «Любезный статский советник Поль де Кок! Получив ваше письмо, что мне, как неограниченному повелителю миллионов, полезно по временам выслушивать обличения, я сейчас же послал за протоиереем Баженовым и, когда тот явился, приказал ему обличать меня. Но посмотрите, что он сказал: армия твоя наводит страх на всех твоих врагов, флоты твои по самым дальним морям разносят славу твоего имени, а чиновники с кротостью и любовью пасут вверенное им стадо. Судите сами, по этим словам, как трудно управлять таким государством, как Россия!»

ОПАСНОСТЬ

«Революция толкнула С.Булгакова на опасный путь осознания происходящего» (восп. Локса).

ОЦЕНОЧНОСТЬ

Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что, если ахматовский «Реквием» - такие же слабые стихи, как «Слава миру»?

ОТЧЕ НАШ

было напечатано в конце передовицы «Биржевых ведомостей» - никто не заметил (Ясин., 287).

ОТЕЦ

Массон о гвардейском офицере, который в 25 лет продал всех мужиков и оставил баб, чтобы заселять поместье собственными силами (Мельгунов,7).

ОТЕЧЕСТВО

«Великая всемирная Отечественная война» было написано на обложке песенника 1914 г.

ОТЦЕУБИЙСТВО

Александр I не любил Кутузова не только из-за Аустерлица, но и потому, что накануне 14 марта Кутузов с женой тоже были на ужине Павла I.

ОТЦЕУБИЙСТВО

В Китае, писал Марко Поло, за все уголовные преступления можно от смертной казни отплатиться деньгами, кроме трех: отцеубийства, матереубийства и не по форме вложенного в конверт казенного письма.

ОПТИМИЗМ

Самая оптимистическая строчка в русской поэзии, какую я знаю и вспоминаю в трудных случаях жизни, это в «Коринфянах» Аксенова. Медея зарезала детей, сожгла соперницу, пожар по всему Коринфу, Ясон рассылает пожарников «И на Подол и на Пересыпь», хор поет гимн огню со строчкой «Укуси? укуси? укуси?», вестники браво рапортуют, что все концы выгорели дотла, - и Ясон, выслушав, начинает финальный монолог словами: Но не в последний раз горит Коринф!

ПАВЛИК МОРОЗОВ

Не забывайте, что в Древнем Риме ему тоже поставили бы памятник. И что Христос тоже велел не иметь ни матери, ни братьев. Часто вспоминают «не мир, но меч», но редко вспоминают зачем.

ПЕРЕСТРОЙКА

... «Европы сразу не заведешь» - «люди лыковой культуры»... (Б.Житков, письма 1921 г.) О себе: «Всех хочу сделать счастливыми, а характер аракчеевский».

ПЕРЕВОДЫ

Тайна русского народа была бы понятнее иностранцам, если бы они могли читать не только Достоевского, а и Щедрина.

Но Достоевский переводим (как детектив и как философский трактат), а Щедрин непереволим, и не из-за реалий и аллюзий, а потому что стилистическое богатство его ехидства абсолютно непередаваемо. Передать исхищенную точность щедринских слов мог бы разве Набоков, но для Набокова Щедрин не существовал. (А ведь было у них общее свойство: способность уничтожить одним словом.)

ПЕРЕВОД

«Кто дает буквальный перевод Писания, тот лжет, а кто неточный, тот кощунствует». – Иехуда бен Илаи, цит. в предисловии к переводу Новалиса, а оттуда цит. в эпиграфе к переводу Моргенштерна.

ПЕРЕВОД

Самая переводимая книга – Микки-Маус, затем Ленин, затем Агата Кристи; Библия отодвинулась на четвертое место (данные на 1988 год).

ПЕРЕВОД

нужен отдельный не только для чтения и для сцены, но и для каждой постановки. Козинцев ставил не «Гамлета», а пастернаковский перевод: поставить под его кадры перевод Лозинского невозможно.

ПЛЮРАЛИЗМ –

против чего? Против сингуляризма? Русский плюрализм с дитей без глазу.

ПОДЛИННОСТЬ

Интервью С. Ав., «Ог», 1986, 32: уважать старину и ценить подлинность. Мне, не имея отца и деда, трудно понять первое и, будучи переводчиком (как и С. Ав.), трудно понять второе. Подлинность подлинна только тогда, когда не замечается. О.Седакова сказала: а Умберто Эко в докладе, наоборот, очень пространно и патетично рассуждал, что никакой подлинности на свете нет и быть не может. Но когда пошли обедать, он так вдумчиво вникал в меню, что я подумала: нет, кое-что подлинное для него есть.

ПОНИМАНИЕ

Из хасидских хрий: «Вы мою проповедь не поймете, но все равно слушайте, потому что когда придет Мессия, вы его тоже не поймете, поэтому привыкайте».

ПОНИМАНИЕ

«Все простить значит ничего не понять» (Степун, «Из писем прап.»).

ПОРЯДОК

Восп. дочери о Шолом-Алейхеме: «Когда все у него на столе расставлено в порядке, он не пишет: сидит и любителю на порядок».

ПРАВДА

«Говорить всегда правду – это тоже эстетская прихоть», - говорил Олейников...

ПРЕДКИ

У белинского прадед неизвестен, дед – сельский священник, отец – военный лекарь с репутацией вольнодумца, мать – мелкая дворянка: как у всех русских пишущих людей, замечает Михайловский: «немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства» (А.Волынский, Р. кр., 36).

ПРЕДКИ

«Кто твой отец?» - спросили мула. – «Я от кобылы-одиночки», ответил мул. Нынешнему возрождению русского дворянства следовало бы взять девизом «Наши предки Рим спасли». Генеалогическое дерево, генеалогический пень.

ПРОГРЕСС

В младших классах меня били, в старших не били, поэтому я и уверовал в прогресс.

ПРОГРЕСС

Читатели нового времени удивлялись: почему Эдип, получив пророчество, что убьет отца, не стал избегать любого убийства или хотя бы столкновения с любым стариком, а вместо этого сразу подрался с незнакомым Лаием? Ответ: просто в Греции невозможно было прожить жизнь, никого не убивши, хотя бы ополченцем в будничной межевой войне. Вот что такое прогресс.

ПРОГРЕСС

Для вас прогресс банальность? Но только благодаря прогрессу мы с вами и разговариваем: тысячу лет назад мы бы оба умерли во младенчестве.

ПРОГРЕСС

Цитируя трогательные слова Достоевского о слезинке ребенка, забывают, что столетием раньше они не имели бы никакого смысла: детская смертность была такова, что жалость к ребенку была противоестественна. В середине XVIII в. в Англии, а затем во всей Европе начался демографический взрыв (одни говорят – от успехов медицины, другие – от улучшившегося питания), и чувства переменились.

«ПРОГРЕСС

не выдумка, потому что для позднего человека открыта возможность общения с гораздо более широким кругом «вечных спутников»» (Бицилли, СЗ 62, 385).

ПСИХОАНАЛИЗ

Его формула: «Стоит ли мучиться, что ты хуже других, только оттого, что это правда?» (откуда?). На вопрос «что тебе дала философия?» стоик отвечал: «С ней я делаю добровольно то, что без нее делал бы подневольно».

ПОПЫХИ

«Признаться, самому до смерти Мне надоели попыхи: Куда тебя не сунут черти, Весь мир исполнен чепухи» (Фет, 527).

ПУБЛИЦИСТИКА

«Чехов относился к России, как врач, а на больного не кричат» (Ремизов, «Петерб. буерак», 242).

РЕВОЛЮЦИЯ

Каменную старуху Веру Фигнер робко спросили: «А если бы вам удалось победить – что тогда?» Она ответила: «Созвали бы земский собор, учредительное собрание, оно приняло бы конституцию – убогую, скаредную, мещанскую; и мы бы поклонились и отошли прочь, потому что это и была бы народная воля». Щедрин, отвечая благодарностью на известную аллегорическую картинку, поднесенную студентами к юбилею, писал: «Только вот на горизонте у вас просвет виднеется; я понимаю, что это по жанру так положено, но мы-то с вами знаем, что на самом деле никакого просвета нет». Если не помнить об этом чувстве обреченности, нельзя понять русскую революцию.

РЕВОЛЮЦИЯ

В «Лит. учебе» была статья о том, что Николай II был прав даже в 1914 г., потому что для искупления Россия нуждалась в войне. «Может быть, и в революции?» Пожалуй, но чтобы во главе ее были истинно православные. «А, это как в Иране».

РОМАНТИЗМ

был последствием демографического взрыва, который начался в середине XVIII в. в Англии, а потом волнами разошелся по Европе. (Раньше считали – от успехов медицины; теперь считают – от улучшения питания.) До этих пор человечество много тысяч лет боролось с природой за выживание, и большие эпидемии или неурожаи могли уничтожить его даже не вполовину, а целиком. Чтобы выстоять, оно спланировалось в общество. Ситуации борьбы были однообразные, важно было копить опыт и хранить традиции. В XVIII в. стало ясно, что победа одержана, человечество спаслось от вымирания. Борьба с природой из оборонительной стала наступательной, ситуации ее сразу сделались гораздо менее предсказуемыми, коллективного опыта для них было уже недостаточно. Говорят, в звериных стадах есть особи-маргиналы с нестандартным поведением: их держат в унижении и пренебрежении, однако не убивают. А когда стая оказывается в нестандартной опасной ситуации, их выпускают вперед: если погибнут, не жалко, а если не погибнут, то, может быть, отыщут выход. Вероятно, в человеческой стае тоже есть такие маргиналы с таким отношением к ним; теперь спрос на них вырос, они и стали романтическими героями. От них требовалось только нестандартность поведения – любая: можно было быть святым или злодеем, в новом мире мог пригодиться и тот и другой. Двоемирие и пр. было обоснованием постфактум; житейское поведение, «романтизм и нравы», бравада необычностью ради необычности и тд. были следствиями; романтизм начала XIX в. и модернизм начала XX в. были двумя волнами («почему я должен рассуждать, как отцы?» - «почему я должен рассуждать, как профессора химии?»). Все очень стройно, лишь одно заставляет сомневаться: в середине XVIII в. был не один, а два демографических взрыва, второй – в Китае, и ни индивидуализма, ни романтизма там не произошло. Почему бы это?

СОВЕСТЬ

«Впрочем, попы стыдились таких проповедей, но не совестились» (Гиляров-Плат., II, 205). Я вспомнил знаменитую статью В.Н.Ярхо «Была ли у древних греков совесть?»

СВЕРХУ

Александр I в 1814 г. в Лондоне просил у вига Грея доклад о средствах создания в России оппозиции (СЗ 62)

СВЯТОЙ

На вечере памяти М.Е. Грабарь-Пассек С.Аверинцев начал так: «Лесков говорил, что в России легче найти святого, чем честного человека, - так же можно сказать, что легче найти гения, чем человека со здравым смыслом и твердым вкусом...» итд.

СЕЛЯНКА

Мережковский приставал к Чехову с вечными вопросами, а тот говорил: не забудьте, что у Тестова к селянке большая водка нужна. «Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, чтобы понять, как он был прав, когда молчал» (Алданов). Это А.Лютер сказал, что у Достоевского люди не едят, чтобы говорить о Боге, а у Чехова обедают, чтобы не говорить о Боге (СЗ 26-27).

СЛАВЯНСТВО

«День святителей Кирилла и Мефодия был отпразднован обедом, данным в залах Дворянского собрания. Против царской ложи была водружена хоругвь, принесенная в дар слепцом-писателем Ширяевым. Меню было составлено из одних исключительно славянских названий. Посреди него была изображена географическая карта славянских земель с надписью: «Одним бы солнцем греться нам» (Неведомский, 350).

СЛОН

В Париже в 1945 г. выходила русская газета «Честный слон». «Отчего такое веселое название?» - спросил я. «Ну, все-таки война кончилась...» - ответил Л.Флейшман.

«СТРАННО,
право, что эти люди ничего не понимают, но гораздо страннее, что это для меня странно»
(Фет – Л.Толстому, 21.01.1879).

СОКРАТ

Сын Н.Ж. мечтал изобрести лекарство «сократин», чтобы можно было не болеть, но сократить жизнь с конца за счет невыполненных болезней.

СПАРТА

Александр I: “способность относиться к себе со спартанской суровостью умиляла его до слез» (Ходасевич, «Державин»).

СТРАХОГОВЕНИЕ

«Нигде высшую церковную иерархию не встречали в качестве преемников языческих волхвов с большим страхоговением, как в России, и нигде она не разыгрывала себя в таких торжественных скоморохов, как там же. В оперном облачении с трикирием и дикирием в храме, в карете четверней с благословляющим кукишем на улице <и т.д.>, со смиренно-наглым и внутрь смеющимся подобострастием перед светской властью, она, эта клубучная иерархия, всегда была тунеядной молью всякой тряпичной совести русского православного слюнтяя» (Ключевский, Письма, 1968,312).

СТАЛИН

«В Европе XV века власть почти повсюду принадлежала Сталиным» (Алданов, «Юность П. Строганова»).

СТАРОЕ и НОВОЕ

Ларошфуко: «Многие борются против нового не оттого, что привержены к старому, а оттого, что первые ряды поборников нового уже заняты, а быть во вторых они не хотят».

СТУЛ

«Нашествие французов и за ним последовавшие нашествие крестьян на ту же Москву с целью грабежа» впервые вынесло в провинцию стулья вместо лавок (Гиляров-Плат., I, 55).

СУДЬБА

И.О.: «На Олимпе было решено, что греки и троянцы взаимоистребятся, но не было решено, кто кого; поэтому боги разделились в поддержках» итд. А Троя потом продолжала существовать незримо, как град Китеж.

СУЗДАЛЬ

«Ударя с тыла в табор их с дружиной суздальцев своих» - но суздальцы, как и нижегородцы, на Куликовом поле не были, а держали тылы. Москва пересилила Тверь денежной помощью Новгорода, который дружил через соседа.

СТРУКТУРАЛИЗМ

«Итоги», 1996, 26, интервью с дизайнером А.Логвином. «Только ясность оправдывает провокацию, ясность на уровне структуры, а не на уровне вкуса. Как с женщиной: приводишь, она вроде вся офигительная. Ложишься в постель и понимаешь, что на самом деле она вся совершенно деструктурная. Чего-то много или мало. Что тебя обламывает, и понимаешь, что надо уходить из койки». – Можно это оставить в тексте? – «Конечно. У меня

как раз очень структурная жена».

СУФФИКС

«А.Н.Толстой очень любит слово задница и сетует о его запретности: прекрасные исконно русские слова – горница, горлица, задница...» (Записи Л.Я.Гинзбург, НМ 1992, 6). По-японски задница называется «ваша северная сторона».

СЧАСТЬЕ

Филологический анекдот из сб. Азимова. Отплывает пароход, в последнюю минуту по трапу вносят старшего помощника, мертвецки пьяного. Проспавшись, он читает в судовом журнале: «К сожалению, старший помощник был пьян весь день». Бежит к капитану, просит не портить ему карьеру. «Поправки в журнале не допускаются, но сделаю, что могу». Назавтра читает: «К счастью, старший помощник был трезв весь день».

ТАМ

«А у вас под Москвой, говорят, война идет?..» - говорили архангельские мужики Н.Я.Брюсовой в 1904 г.

ТОТ

«Если есть тот свет, то там только наслаждаются природой и искусством, а кто не натренирован к этому и больше любил выпить, покурить да в кино, тому скушно, вот и все наказание» (И.С. Ефимов, «Об иск. и худож.», 77). Похожим образом Эриугена истолковывал ад.

ТЕМПЕРАТУРА

«Каковы ваши жгучие несчастья?» - спрашивало доброе письмо из-за границы. А у меня нет жгучих, у меня холодные.

ТРАДИЦИЯ

Жалобы на искусственную прерванность русской культуры неуместны: культурная традиция не задается, а создается, сочиняется заново каждым писателем или группой... Сейчас у русской литературы сколько угодно традиций, от Хармса до Хомякова. В том числе и прерванность традиций: это тоже традиция.

ТРИНАДЦАТЬ:

дурная слава этого числа – недавняя, от контрреформации XVII в., по месту Иуды среди апостолов (В.Марков).

УБИЙСТВО

«Нам с ней не котят крестить», выражение Ремизова («Петерб. буерак»). Из жалости топить котят в теплой воде – это не выдумка «Записей Ковякина», это было и в мемуарах: не у Шкловского ли? Топившая хозяйка могла ответить на попреки: «А если б вас самих топили, вам все равно было бы, да?»

УЖЕ

В Енисейске хозяйка спрашивала: «Убил, что ли, кого?» Нет. «Украл?» Нет. «Так за что же это тебя?» Я поляк. «Такой молодой, а уже поляк!» (ГМ, 1914, 7, 147)...

УПРУГОСТЬ

(СЗ за 1935). Показатель моральной упругости армии – при каком проценте потерь она ощущает свое поражение? У турок в Плевне – 20%, у итальянцев при Кустоцце – 4%.

ФОРМАЛИЗМ

«Типот подарил трехлетней дочери книжку о животных, она равнодушно перелистала львов и тигров, а о зебре спросила: это еще что за ерунда?» (Записи Л.Я.Гинзбург, НМ, 1992, 6).

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

государства отвратительно, но не более, чем функционирование человеческого организма». Е.Лундберг, Зап. писателя.

ФЛОТ

В «Русском вестнике», 1902, 2, 185, в исторической статье была фраза: «Главным врагом русского военного флота всегда было море».

Школьный вечер в Принстоне, дети сочиняли истории и рассказывали родителям. «Жили и дружили девочка Дженни и мальчик Альфред. У дженни на шее всегда был зеленый бантик; Альфред спрашивал, почему? а Дженни отвечала: не скажу. Они выросли, поженились, состарились, и Альфред все спрашивал, а Дженни отвечала: не скажу. А когда Дженни стало совсем плохо, она сказала Альфреду: вот теперь развяжи мне бантик, и ты кое-что поймешь. Он развязал, и у Дженни отвалилась голова». Идиллическая страшилка.

ХОРОШО

«Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» - Лук. 6, 26.

ХОТЕТЬ

«Все можно сделать, если захотеть, только захотеть нельзя, если не хочется» (Дневн. А.И.Ромма, РГАЛИ).

«ЦАРЬ

Додон погиб, и преемником посмертно был избран царь Горох». – И.О.

ЧАЙ

Константин и Николай подносили друг другу Россию, как чай, от которого отказываются (СЗ 26, 252).

ЧЕСТЬ

«Всем людям свойственно, потерпев крушение, вспоминать о требованиях долга и чести» (Плутарх, «Антоний», 17).

ЧЕСТЬ

«Из чести лишь одной я в доме сем служу», говорит девка в «Опасном соседе». «Теперь бы сказали: на общественных началах», сказала А.

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

была последняя книга, которую читал Маяковский перед самоубийством (ДН 1989, 3, 209).

ЮБИЛЕЙ

(От А.В.Лаврова). Был опрос к 200-летию, какие стихи Пушкина знают люди. На первом месте оказалось «Ты еще жива, моя старушка?», на втором «Выхожу один я на дорогу», на третьем «У лукоморья дуб зеленый»...

ЯЗЫК

«Как хорошо было бы перевести Бодлера на церковнославянский язык, как бы он зазвучал!» - говорил Ю.Сидоров Локсу.

ЯЗЫК

Знание французского языка развивает самонадеянность, а греческого – скромность, - доказывали Николаю I члены ученого комитета, вырабатывавшего гимназическую программу; но Уваров понимал нереальность, а Пушкин писал о ненужности, и греческий не ввели.

Я

«Что бы я ни делал, всегда нахожу что-нибудь между истиной и мною: это нечто – сам я; истина сокрыта мне одним мною. Есть одно средство увидеть истину – удалить себя, почаще говорить себе, как Диоген Александру: отойди, не засти солнца». Чаадаев, 1913, 1, 158.

ОБЯЗАННОСТЬ ПОНИМАТЬ

(«Путь к независимости и права личности» — дискуссия в журнале «Дружба народов»)

Я — человек. Считается, что уже поэтому я — личность. Если я — личность, то какие я чувствую за собой права? Никаких. Я не сам себя создал, и Господь Бог не трудился надо мной, как над Адамом. Меня создало общество — пусть даже это были только два человека из общества, отец и мать. Зачем меня создало общество? Чтобы посмотреть, что из меня получится. Если то, что ему на пользу — хорошо, пусть я продолжаю существовать. Если нет — тогда в переплавку, в большую ложку Пуговичника из «Пер Гюнта».

Почему я не чувствую за собой права на существование? Потому что мне достаточно представить себя на необитаемом острове — в одиночку, как самодовлеющую личность. Выживу ли я? От силы два-три дня. Голод, холод, хищные звери, ядовитые травы — нет, единственное мое заведомое личное право — умирать с голоду. Все остальные права — дареные. (Триста лет назад, когда общество еще не было таким дифференцированным, может быть, выжил бы. И Дефо написал бы с меня «Робинзона Крузо», изрядно идеализировав. Но времена робинзонов, которые будто бы сами творят цивилизацию (а не она — их), давно прошли. Кстати, Робинзон с Пятницей — кто они были: нация? народ? этнос? с этническим большинством и этническим меньшинством?)

Есть марксистское положение: личность — это точка пересечения общественных отношений. Когда я говорил вслух, что ощущаю себя именно так, то даже в самые догматические времена собеседники смотрели на меня как на ненормального. А я говорил правду. Я зримо вижу черное ночное небо, по которому, как прожекторные лучи, движутся светлые спицы социальных отношений. Вот несколько лучей скрестились — это возникла личность, может быть — я. Вот они разошлись — и меня больше нет.

Что я делаю там, в той точке, где скрещиваются лучи? То, что делает переключатель на стыке проводов. Вот откуда-то (от единомышленника к единомышленнику) послана научная концепция — протянулось социальное отношение. Вот между какими-то единомышленниками протянулась другая, третья, десятая. Они пересеклись на мне: я с ними познакомился. Я согласовываю в них то, что можно согласовать, выделяю более приемлемое и менее приемлемое, меняю то, что нуждается в замене, добавляю то, что мой опыт социальных отношений мне дал, а моим предшественникам не мог дать; наконец, подчеркиваю те вопросы, на которые я так и не нашел удовлетворительного ответа. Это мое так называемое «научное творчество». (Я филолог — я приучен ссылаться на источники всего, что есть во мне.) Появляется новая концепция, новое социальное отношение, луч, который начинает шарить по небу и искать единомышленников. Это моя так называемая «писательская и преподавательская деятельность».

Где здесь место для прав личности? Я его не вижу. Вижу не права, а только обязанность, и

притом одну: понимать. Человек — это орган понимания в системе природы. Если я не могу или не хочу понимать те социальные отношения, которые скрещиваются во мне, чтобы я их передал дальше, переработав или не переработав, то грош мне цена, и чем скорее расформирую мою так называемую личность, тем лучше. Впрочем, пожалуй, одно право за собой я чувствую: право на информацию. Если вместо десяти научных концепций во мне перекрестятся пять, а остальные будут перекрыты, то результат будет гораздо хуже (для общества же). Вероятно, общество само этого почему-либо хотело; но это не отменяет моего права искать как можно более полной информации.

Я уже три раза употребил слово «единомышленник». Это очень ответственное слово, от его понимания зависит все лучшее и все худшее в том вопросе, который перед нами. Поэтому задержимся.

Человек одинок. Личность от личности отгорожена стенами взаимонепонимания такой толщины (или провалами такой глубины), что любые национальные или классовые барьеры по сравнению с этим — пустячная мелочь. Но именно поэтому люди с таким навязчивым пристрастием останавливают внимание на этой пустячной мелочи. Каждому хочется почувствовать себя ближе к соседу — и каждому кажется, что для этого лучшее средство отмежеваться от другого соседа. Когда двое считают, что любят друг друга, они не только смотрят друг на друга, они еще следят, чтобы партнер не смотрел ни на кого другого (а если смотрел бы, то только с мыслью «а моя (мой) все-таки лучше»). Семья, дружеский круг, дворовая компания, рабочий коллектив, жители одной деревни, люди одних занятий или одного достатка, носители одного языка, верующие одной веры, граждане одного государства — разве не одинаково работает этот психологический механизм? Всюду смысл один: «Самые лучшие это мы», Еще Владимир Соловьев (и, наверное, не он первый) определил патриотизм как национальный эгоизм.

Ради иллюзии взаимопонимания мы изо всех сил крепим реальность взаимонепонимания — как будто она и так не крепка сверх мотыги! При этом чем шире охват новой сверхкитайской стены, тем легче достигается цель. Иллюзия единомыслия в семье или в дружбе просуществует не очень долго — на каждом шагу она будет спотыкаться о самые бытовые факты. А вот иллюзия классового единомыслия или национального единомыслия — какие триумфы они справляли хотя бы за последние два столетия! При этом природа не терпит пустоты: стоило увянуть мифу классовому, как мгновенно расцветает миф националистический. Я чувствую угрызения совести, когда пишу об этом. По паспорту я русский, а по прописке москвич, поэтому я — «этническое большинство», мне легко из прекрасного далека учить взаимопониманию тех, кто не знает, завтра или послезавтра настигнет их очередная ночь длинных ножей. Простите меня, читающие.

У личности нет прав — во всяком случае, тех, о которых кричат при постройке новых взаимоотношений. У личности есть обязанность — понимать. Прежде всего понимать своего ближнего. Разбирать по камушку ту толщу, которая разделяет нас каждого с каждым. Это работа трудная, долгая и — что горше всего — никогда не достигающая конца. «Это стихотворение хорошее». — «Нет, плохое». — «Хорошее потому-то, потому-то и потому-то». (Читатель, а вы всегда сможете назвать эти «потому-то»?) — «Нет, потому что...» и т.д.

Наступает момент, когда после всех «потому что» приходится сказать: «Оно больше похоже на Суркова, чем на Мандельштама, а я больше люблю Мандельштама». — «А я наоборот». И на этом спору конец: все доказуемое доказано, мы дошли до недоказуемых постулатов вкуса. Стали собеседники единомышленниками? Нет. А стали лучше понимать друг друга? Думаю, что да, Потому что начали — и, что очень важно, кончили — спор именно там, где это возможно. (Читатель, согласитесь, что чаще всего мы начинаем спор именно с того рубежа, где пора его прекращать. А ведь, до этого рубежа нужно сперва дойти.) Я нарочно взял для примера спор о вкусе, потому что он безобиднее. Но совершенно таков же будет и спор о вере. Кончится он всегда недоказуемыми постулатами: «Верю, ибо верю». А что постулаты всех вер для нас, людей, равноправны — нам давно сказала притча Натана Мудрого.

Если такие споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию, то зачем

они нужны? Затем, что они учат нас понимать язык друг друга. Сколько личностей, столько и языков, хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Разбирая толстую стену взаимопонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа — говорить и думать, как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить собственную «самость». Почему Рим победил Грецию, хотя греческая культура была выше? Один историк отвечает: потому что римляне не гнушались учиться греческому языку, а греки латинскому — гнушались. Поэтому при переговорах римляне понимали греков без переводчика, а греки римлян — только с переводчиком. Что из этого вышло, мы знаем.

Сколько у вас бывает разговоров в день — хотя бы мимоходных, пятиминутных? Пятьдесят, сто? Ведите их всякий раз так, будто собеседник — неведомая душа, которую еще нужно понять. Ведь даже ваша жена сегодня не такая, как вчера. И тогда разговоры с людьми действительно других языков, вер и наций станут для вас возможным и успешнее.

И последнее: чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя, а не от чьего-либо общего лица. Когда в гражданскую войну к коктейбельскому дому Максимилиана Волошина подходила толпа, то он выходил навстречу один и говорил: «Пусть говорит кто-нибудь один — со многими я не могу». И разговор кончился мирно.

Нас очень долго учили бороться за что-то: где-то скрыто готовое общее счастье, но его сторожит враг, — одолеем его, и откроется рай. Это длилось не семьдесят лет, а несколько тысячелетий. Образ врага хорошо спланировал отдельные народы и безнадежно раскалывал цельное человечество. Теперь мы дожили до времени, когда всем уже, кажется, ясно: нужно не бороться, а делать общее дело — человеческую цивилизацию: иначе мы не выживем. А для этого нужно понимать друг друга.

Я написал только о том, что доступно каждому. А что должно делать государство, чтобы всем при этом стало легче, я не знаю. Я не государственный человек.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Вопросник журнала «Знамя»*

1. Считаете ли вы, что русская интеллигенция — с момента своего возникновения — являлась инициатором всех общественных движений и революций в стране?

Прежде всего: что такое интеллигенция? (И считаю ли я себя интеллигентом?) По общеевропейскому пониманию, это слой общества, воспитанный для того, чтобы руководить обществом, но не нашедший для этого вакансий и предлагающий обществу свою критику или свои предложения со стороны. Если так, то принадлежность к интеллигенции решается внутренним чувством: «чувствуешь ли ты себя призванным руководить обществом?». Я не чувствую: я знаю, что если меня поставить президентом, то я с лучшими намерениями наделаю много фантастических глупостей. Поэтому я предпочитаю называть себя работником умственного труда.

Затем: с какого момента возникла интеллигенция? Вероятно, с того момента, когда люди почувствовали, что они живут нехорошо и что обществу нужно какое-то руководство, чтобы жить лучше. Тогда первыми пришлось бы назвать религиозных учителей, Будду и Христа. Думаю, что говорить об этом нелепо. Взглянем поуже: когда Россия почувствовала, что завтрашний день не должен повторять вчерашний, а должен быть новым? В XVII—XVIII вв., после Смуты и Петра I. Можно ли сказать, что идеи князя Хворостинина оказали влияние на Разина, а идеи вольтерьянцев на Пугачева? Смешно и думать. Общественные движения — результат стихийных, массовых социальных сдвигов, и искать для них инициаторов — это значит ставить небезынтересный, но практически праздный вопрос, кто первым сказал «ату!».

Интеллигенция была осознateлем общественных движений, но не инициатором их.

2. Существует ли некая граница между интеллигенцией и народом? если да, то где она пролегалет? Или духовные прозрения и духовные болезни интеллигенции являются лишь отражением (усиленным) прозрений и болезней народа?

Видимо, ответ вытекает из сказанного: интеллигенция есть часть народа, чувствует то же, что и народ, но в силу лучшего образования лучше это осознает и дает этому выражение. Граница пролегалет по уровню образования. Усиленное это выражение или нет — это вопрос к статистике, которой в общественных науках всегда трудно. Погибло ли жертвой коллективизации два, пять или десять миллионов крестьян, можно ли говорить, что отношение наше к этой трагедии преувеличено? Хотелось бы уточнить, что такое «духовные болезни» интеллигенции и народа, но для ответа это, кажется, несущественно.

3. В какой степени творцов русской классики можно причислить к интеллигенции?

Вероятно, по сказанному: если у них есть законченная программа общественного переустройства, то можно. Толстого можно: устроить русскую жизнь по Генри Джорджу, и все вопросы решатся. Чернышевского тем более можно. (Только считают ли его авторы анкеты «творцом русской классики*?») А вот Лермонтова или Гончарова, наверно, нельзя.

4. Можно ли считать, что русская классика и русская интеллигенция обладали принципиально различными мироощущениями? Народолюбие интеллигенции и народолюбие русской классической литературы — явления разные?

Может быть, высокие слова «русская классика» и «русская интеллигенция» лучше заменить более внятными «русская литература» и «русская публицистика»? Тогда окажется, что литература, как это ей и положено, изображает жизнь как она есть (с той стороны, которая доступнее писателю), а публицистика — какой она должна быть (по мнению пишущего). Чем ближе глаз к картине, тем народолюбие конкретнее, чем дальше — тем абстрактнее; промежуточных ступеней — бесконечное множество, а явление — одно и то же. Вот когда крайности того и другого рода совмещаются, — как иногда у Достоевского, — то это всего интереснее для изучения. «Народолюбие» — тоже не совсем точный термин. Ник. Успенский любил свой народ до жестокой ненависти.

5. Можно ли говорить о слепом, культовом преклонении творцов русской культуры перед народом и о том, что этот культ стал причиной будущей гибели русской классической культуры?

Во-первых, я не вижу гибели русской культуры. Кончается одна ее форма (которую нам сейчас угодно называть классической) — начинается другая, менее привычная и потому менее симпатичная нам, но которая станет «классической» для наших детей. Обычное течение истории, никакой катастрофы.

Во-вторых, я не вижу преклонения творцов культуры перед народом. Ломоносов, Пушкин, Гоголь преклонялись перед народом? Щедрин, Лесков, Горький говорили народу: «Ты нищ и невежествен, поэтому ты лучше нас?» Нет, они говорили: «Пусть нищета и невежество перестанут душить твои способности и душевные качества — и ты увидишь, что ты не хуже, а то и лучше нас».

В-третьих, когда я вижу человека, который ничуть не хуже меня, а живет много хуже, и испытываю из-за этого угрызения совести, — можно ли их называть «слепым, культовым преклонением»? Не думаю.

6—7. Какие произведения классики объективно способствовали развитию революционных настроений? Может быть, «Отцы и дети», «Гроза», «Мертвые души» превратно понимались как призыв к насильственному переустройству мира? Каков механизм подобного неадекватного восприятия и где корни такого узкореалистического, прагматического подхода к литературе?

Тем, что речь идет не о бытии, а о сознании, понятие «объективно» исключается: все воспринимается только субъективно. Даже воля автора здесь не указ: Шекспир не вкладывал в «Гамлета» и сотой доли того, что вкладываем мы. А характер субъективного прочтения вещи определяется общественной обстановкой. Если художественное произведение говорит «наша жизнь нехороша» (а это говорит каждое честное художественное произведение), то у многих слушателей естественно встанет вопрос: «а как ее исправить?», и ответы могут быть самые неожиданные. В Писании нет призывов к революции, но от Дольчино до Кромвеля все революционные движения начинались с Библией в руках. В чеховской «Палате № 6» нет ничего революционного, а Ленину она помогла стать революционером.

8. В какой степени революционные идеи шли из верхнего слоя общества в народ и в какой — из народа «вверх»? Возникали ли революционные настроения больше от субъективного восприятия действительности или от реальных бедствий народа?

Вопрос повторяет предыдущие. Психология всякой жалости: человек видит чужое несчастье, примеривает на себя, прочувствует и обращает свое чувство к ближнему. Из народа вверх шло страдание, сверху вниз ~ сознание необходимости покончить с этим страданием («лучше был бы твой удел, когда б ты менее терпел»). Каким образом покончить с этим страданием — здесь уже начинаются тактические разногласия революционеров.

9. В какой мере русская классика объективно готовила потрясения 1825 г, народовольчества, 1905 г, Февраля, Октября?

Не «готовила», а «помогала предвидеть», причем с все большей точностью: 1825 год вообще не был «потрясением» шире Петербурга, готовность народа к агитации 1870-х гг. была преувеличена, а дальше разрыв между прогнозом и реальностью был не так уж велик.

10. Русская идея, народное эсхатологическое сознание и их революционное применение?

Не могу ответить, плохо знаю материал. «Уход от земного зла» и «борьба с земным злом», конечно, противоположны, но на практике легко могут смыкаться и питать друг друга. "Русская идея" в смысле «опыт истории России» мне здесь мало известна (расколом я не занимался); а «русскую идею» в смысле «грядущее призвание России» я пойму только тогда, когда мне объяснят, например, что такое «шведская идея» или «этрусская идея». Насколько я знаю, национальную идею изобрел Гегель: восточная идея — тезис, греко-римская — антитезис, германская синтез, а все остальные народы к мировой идее отношения не имеют и остаются историческим хламом. России было обидно чувствовать себя хламом, и она стала утверждать то ли что она тоже причастна к романо-германской идее (западники), то ли что она имеет свою собственную идею, не хуже других (славянофилы). Кто верит, что в мировой истории есть народы избранные и народы мусорные, пусть думает над этим, а для меня это неприемлемо.

11. Личность и свобода в русской классике и революционных теориях?

Тоже вопрос не для меня. Личность я понимаю только как точку пересечения общественных отношений, а свободу — как осознанную необходимость: ошейник, на котором написано,

неважно, чужое или мое собственное имя. К счастью, машина взаимодействия этих необходимостей разлажена, и временами в образовавшийся зазор может вместиться чей-то личный выбор — т. е. такой, в котором случайно перевесит та или другая детерминация.

12. Место культуры в русском обществе прежде и сейчас? Стремление русских писателей выйти за пределы литературы, борьба с «художественностью»?

Культура — это все, что есть в обществе: и что человек ест, и что человек думает. Нет «места культуры» в обществе, есть «структура культуры» общества. Конечно, некоторые предпочитают называть «культурой» только те явления, которые нравятся лично им, а остальные именовать «бескультурностью» или «одичанием», но это несерьезно. Описать структуру современной нашей культуры с ее сосуществованием пластов, идущих от митрополита Иллариона и от вчерашних газет, я не берусь. Современный ее кризис — в том, что ответ на вопрос «что делать, чтобы лучше жить?», предлагавшийся во многих подновлениях коммунистической идеологией, оказался несостоятельным и оставил после себя идейный вакуум, в котором сейчас кипит хаос. Конечно, литературу тоже втягивает туда, и ей хочется сбросить «художественность» и стать публицистикой. Каждому Гоголю когда-нибудь кажется, что «Выбранными местами из переписки» он нужнее людям, чем «Мертвыми душами». Об этом самоубийственно хорошо написал Пастернак в середине «Живаго».

13. Существует ли «светская линия» в русской культуре? если да, то что она собой представляет и в чем творчестве выражена?

Не понимаю противопоставления. Чему противопоставляется «светская линия»? «Церковной линии»? Тогда на «светской линии» будет стоять вся русская литература без исключения во главе с Львом Толстым, официально отлученным от церкви. А на церковной останутся какие-нибудь «Кавалеры Золотой Звезды» церковного производства, которых я, к сожалению, не читал. Или, может быть, «религиозной линии»? Тогда придется вспомнить, что еще Чехов, кажется, говорил, что между верой и безверием — широкое поле, и это только русские люди умеют видеть лишь два его края и не видеть середины. Давайте тогда составим карту, где каждый писатель располагается в этом пространстве, — исходя, разумеется, не из деклараций писателей, а из их художественных текстов. Придется работать с очень малыми величинами — так, было подсчитано, что процент строк, из которых явствует всего-навсего, что автор «Песни о Роланде» — христианин, равен около 10%. Такое исследование будет очень полезно — не меньше, чем, например, о том, насколько какой писатель чувствителен к оттенкам цвета, вкуса и запаха.

14. Была ли русская литература XIX в. преддверием Церкви — или заменителем Церкви, «альтернативной религией», на смену которой могли прийти иные «религии» — коммунизм, национализм, социалистический реализм?

Насколько я понимаю, «религией» в кавычках здесь называется идеология — т. е. комплекс идей, не самостоятельно выработанных человеком, а навязанных ему традицией или окружением. Таких идеологий может быть очень много, и сосуществовать в одном сознании они могут очень причудливо (например, национализм с христианством или с коммунизмом). Единство вкуса, это тоже идеология, объединяющая общество; единство вкуса к русской классике — в том числе. К счастью, эта идеология менее догматизирована, чем другие, и от нас не требуют обязательно считать Гоголя выше Лермонтова, или наоборот. Поэтому надеюсь, что господствующей эта идеология не станет, а вспомогательной она может оказаться при любой другой: двадцать лет назад мы читали Пушкина за оду «Вольность», а теперь, кажется, чтим за «Отцы пустынноики и жены непорочны» и за «Тень Баркова».

Предшественницей социалистического реализма русская классика была во всяком случае: писателям полагалось учиться у Льва Толстого, а не у Андрея Белого.

15. Как показывает опыт, наша культура расцветает под гнетом, а при самой малой свободе исчезает, оставляя дешевую масскультуру, запоздалое подражание Западу и заумное эстетство. Может быть, отечественная культура несовместима со свободой?

А когда у нас была «самая малая свобода»? При Екатерине II? При «Войне и мире»? После 1905 года? Неужели можно сказать, что культура в эти годы «исчезала»? Кроме того, «расцвет культуры» и «формирование» культуры — годы разные; Пушкин был сформирован общественным подъемом 1812—1815 гг., а писал под общественным гнетом 1820—1830-х гг. Далее, в Европе, где (считается) свободы было больше, в 1860—1870-х гг. царило эпигонство и «масскультура», а эксперименты импрессионистов и Сезанна встречались насмешками. При всяком режиме существует искусство серийное и искусство лабораторное, загнанное в угол, где и вырабатываются новые формы; а «новые», в понимании нашего века, и есть «хорошие», «настоящие».

16. Можно ли считать, что миновало время идеологизированной, учительной литературы и она сможет, наконец, стать «чисто художественной»?

Это зависит не от писателей, а от читателей: захотят ли они учиться, т. е. усваивать готовую идеологию в готовом виде? Если общественные условия дают, то учительной литературой может оказаться и поваренная книга. И наоборот, когда отойдут современные политические проблемы, то Солженицына будут читать не как ответ на животрепещущие вопросы, а как чистое искусство. «Георгики» Вергилия были агитационной поэмой за подъем римского сельского хозяйства, а кто сейчас, читая их, помнит об этом?

17. Индивидуализм (гражданские права, парламентское устройство), коллективизм и соборность — какой путь лучше для России и каково место литературы в жизни общества в каждом случае?

Вопрос не для меня. Прав человека я за собой не чувствую, кроме права умирать с голоду. Коллективизм и соборность для меня одно и то же — между сталинским съездом Советов и Никейским собором под председательством императора Константина для меня нет разницы. Я существую только по попущению общества и могу быть уничтожен в любой момент за то, что я не совершенно такой, какой я ему нужен. (Именно общества, а не государства: такие же жесткие требования ко мне предъявляет и дом, и рабочий коллектив). Я хотел бы, чтобы мне позволяли существовать, хотя бы пока я не мешаю существовать другим. Но я мешаю: тем, что ем чей-то кусок хлеба, тем, что заставляю кого-то видеть свое лицо... Впрочем, это уже не ответ на поставленный вопрос.

ПРИМЕЧАНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ

У слова «интеллигенция» и смежных с ним есть своя история. Очень упрощенно говоря, его значение прошло три этапа. Сперва оно означало «люди с умом» (этимологически), потом «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях), потом просто «очень хорошие люди».

Слово *intelligentia* принадлежит еще классической, цicerоновской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность к пониманию». За две тысячи лет оно поменяло в европейской латыни много оттенков, но сохранило общий смысл. В русский язык оно вошло именно в этом смысле. В. Виноградов в «Истории слов->» (М., 1994, с. 227—229) напоминает примеры: у Тредиаковского это «разумность», у масонов это высшее, бессмертное состояние человека

как умного существа, у А. Галича «разумный дух», у Огарева иронически упоминается «какой-то субъект с гигантской интеллигенцией», и даже (Тургенев, 1871) «собака стала... интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, ее кругозор расширился». Позднее определение Даля (1881): «Интеллигенция — разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Еще Б. И. Ярхо (1889—1942) во введении к «Методологии точного литературоведения» держится этого интеллектуалистического понимания: «Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение этой потребности... Вышеозначенная потребность свойственна человеку так же, как потребность в размножении рода: не удовлетворивши ее, человек физически не погибает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно. Потребностью этой люди одарены в разной мере (так же, как, напр., сексуальным темпераментом), и этой мерой измеряется степень «интеллигентности». Человек интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы». (Писаны эти слова в 1936 г. в сибирской ссылке.)

Наступает советское время, культура распространяется не вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую реплику Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество людей, читавших "Анну Каренину"» и пр. (Г. П. Федотов вполне серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания «новой русской элиты», которая затем распространила бы свое культурное влияние на все общество и т.д.) Казалось бы, тут-то и время, чтобы интеллектуальный элемент понятия «интеллигенция» повысился в цене. Случилось обратное: чем дальше, тем больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистическому понятию интеллигенции нанес А. И. Солженицын, придумав слово без промаха: «образованщина». Конечно, для порядка образованщина противопоставлялась истинной образованности. Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а нравственный: коллаборационист, который несет свои умственные способности на службу советской власти, — он не настоящий интеллигент.

Теперь зайдем с другой стороны — от производного слова «интеллигентный*». При Тургеневе, как мы видели, оно означало лишь умственные качества — хотя бы собаки. Для Даля оно еще не существует, около 1890 г. оно ощущается как новомодный варваризм. Слово «интеллигентный» — производное от «интеллигенция» (сперва как «умственные способности», потом как «совокупность их носителей»). Близкое слово «интеллигентский» — производное от более позднего слова «интеллигент». Как «интеллигенция», так и «интеллигент» — слова, с самого начала не лишённые отрицательных оттенков значения: «интеллигенция» (в отличие от «людей образованных») охотно понималась как «сборище недоучек», примеры тому (в том числе из Щедрина) подобраны у Виноградова. Но на производные прилагательные эти отрицательные оттенки переходят в разной степени. Слово «интеллигентский» и Ушаков и академический словарь определяют: «свойственный интеллигенту» с отрицательным оттенком: «о свойствах старой, буржуазной интеллигенции» с ее «безволием, колебаниями, сомнениями». Слово «интеллигентный» и Ушаков и академический словарь определяют: «присущий интеллигенту, интеллигенции» с положительным оттенком: «образованный, культурный». «Культурный» в свою очередь здесь явно означает не только носителя «просвещенности, образованности, начитанности» (определение слова «культура» в академическом словаре), но и «обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный» (одно из определений слова «культурный» в том же словаре). Антитезой к слову «интеллигентный» в современном языковом сознании будет не столько «невежда», сколько «невежа» (а к слову «интеллигент» — не «мещанин», а «хам»). Каждый из нас ощущает разницу, например, между «интеллигентная внешность», «интеллигентное поведение» и «интеллигентская внешность», «интеллигентское поведение». При втором прилагательном как бы присутствует подозрение, что на самом-то деле эта внешность и это поведение напускные, а при первом прилагательном подлинные. Мне

запомнился характерный случай. Лет десять назад критик Андрей Левкин напечатал в журнале «Родник» статью под заглавием, которое должно было быть вызывающим: «Почему я не интеллигент». В. П. Григорьев, лингвист, сказал по этому поводу: «А вот написать: "Почему я не интеллигентен" у него не хватило смелости».

Попутно посмотрим на еще одну группу мелькнувших перед нами синонимов: «просвещенность, образованность, воспитанность, культурность». Какие из них более положительно и менее положительно окрашены? «Воспитанность» — это то, что впитано человеком с младенческого возраста, «с молоком матери»: оно усвоено внутрь прочнее и глубже всего, однако по содержанию оно наиболее просто, наиболее доступно малому ребенку: «не сморкаться в руку» заведомо входит в понятие «воспитанность», а «знать, что дважды два четыре» — заведомо не входит. «Образованность» относится к человеку, уже сформировавшемуся, форма его совершенствуется, корректируется внешней обработкой, приобретает требуемый образ («ображать камень» — «выделывать вещь из сырья», пишет Даль) — образ, подчас довольно сложный, но всегда благоприобретенный трудом. «Просвещенность» — тоже не врожденное, а благоприобретенное качество, свет, пришедший со стороны, просквозивший и преобразовавший существо человека; здесь речь идет не о внешних, а о внутренних проявлениях образа человека, поэтому слово «просвещенный» ощущается как более возвышенное, духовное, чем «образованный». (Слово «просвещенцы» менее обидно, чем «образованцы»). Наконец, «культурность», слово самое широкое, явным образом покрывает все три предыдущие и лишь в зависимости от контекста усиливает то или другое из их значений. Самым молодым и активным в этой группе слов является «культурность», самым старым и постепенно выходящим из употребления — «просвещенность». Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из языка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова «интеллигентность»: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.

Таким образом, понятие «интеллигенции» в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности». Это может показаться вырождением, но это не так. Службу воспитанности тоже не нужно недооценивать: у нее благородные предки. Для того, что мы называем «интеллигентностью», «культурностью», в XVIII веке синонимом была «светскость», в средние века — «вежество», куртуазия, в древности — *humanitas*, причем определялась эта *humanitas* на первый взгляд наивно, а по сути очень глубоко: во-первых, это разум, а во-вторых, умение держать себя в обществе. Особенность человека — разумность в отношении к природе и *humanitas* в отношении к обществу, т. е. осознанная готовность заботиться не только о себе, но и о других. На *humanitas*, на искусстве достойного общения между равными держится все общество. Не случайно потом на основе этого — в конечном счете бытового — понятия развилось такое возвышенное понятие, как «гуманизм».

И, заметим, именно эта черта общительности все больше выступает на первый план в развитии русского понятия «интеллигенция, интеллигентный». «Интеллигенция» в первоначальном смысле слова, как «служба ума», была обращена ко всему миру, живому и неживому, — ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. «Интеллигентность» в теперешнем смысле слова, как «служба воспитанности», «служба общительности», проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными («ближними», говоря по-старинному). Когда я говорю «Мой начальник — человек интеллигентный», это понимается однозначно: мой начальник умеет видеть во мне не только подчиненного, но и такого же человека, как он сам. А «интеллигенция» в промежуточном смысле слова, «служба совести»? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими, с «властью» и «народом». Причем оба эти понятия, и власть, и народ, достаточно

расплывчаты и неопределенны. Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни нового времени. Оно настолько специфично, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: *intelligentsia*. Для интеллигенции как службы ума существуют устоявшиеся слова: *intellectuals*, *les inteilectuels*. Для интеллигентности как умения уважительно обращаться друг с другом в обществе существуют синонимы столь многочисленные, что они даже не стали терминами. Для «службы совести» — нет. (Что такое совесть и что такое честь? И то и другое определяет выбор поступка, но честь — с мыслью «что подумали бы обо мне отцы», совесть — с мыслью «что подумали бы обо мне дети»). Более того, когда европейские «*les inteilectuels*» вошли недавно в русский язык как «интеллектуалы», то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок: «рафинированный интеллектуал», «высоколобые интеллектуалы». Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный «интеллектуал» — это специалист умственного труда и только, а русский «интеллигент» традиционного образца притязает на нечто большее.

ПРИМЕЧАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ

Было два определения интеллигенции — европейское на слово *intelligentsia*, «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел», — и советское, «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое, западное, перекликается как раз с русским ощущением, что интеллигенция прежде всего оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться. Второе, наоборот, перекликается с европейским ощущением, что интеллигенция (интеллектуалы) — это прежде всего носительница духовных ценностей: так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (проповедь, школа, печать), то она с готовностью пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. «Ценность* — не абсолютная величина, это всегда ценность «для кого-то», в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором.

В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция (даже русская) оказывается неоднородна, многослойна, нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? Чехова? Бердяева? гимназического учителя? инженера? сочинителя бульварных романов? С точки зрения «интеллигенция — носительница духовных ценностей» — безусловно: даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения «интеллигенция — носитель оппозиционности»? Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности; вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их, вполне по-советски, на «консервативных», обслуживающих власть, и «прогрессивных», подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов.

«Свет и свобода прежде всего», — формулировал Некрасов народное благо; «свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу приходится расчленивать: свет обществу могут нести одни, свободу другие, а скрещение и сращение этих задач — действительно специфика русской социально-культурной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние 300 лет.

При этом заметим: «свет» — он всегда привносится со стороны. Специфики России в этом нет. «Свет» вносился к нам болезненно, с кровью: и при Владимире, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем», и при Петре, и при Ленине. «Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития» — эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но — пусть менее кроваво — культура привносилась со стороны и привносилась именно сверху не только в России, но и везде. Петровская Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, а Германия культурной

колонией Франции, а двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией ренессансной Италии, а ренессансная Италия — античного Рима, а Рим — завоеванной им Греции. Как потом это нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковноприходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы.

В России передача заемной культуры от верхов к низам в средние века осуществлялась духовным сословием, в XVIII веке дворянским сословием, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу или государю.

Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой — с приходом в культуру разночинцев (не обязательно поповичей), т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог кончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя, как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространится на весь народ — по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальны, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад, — приходилось двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.

Русская интеллигенция была трансплантацией: западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Специфику русской интеллигенции породила специфика русской государственной власти. В отсталой России власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов-интеллектуалов, а универсалов: при Петре — таких людей, как Татищев или Нартов, при большевиках — таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС, в промежутках — николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Зеркалом такой русской власти и оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции. «Повесть об одной благополучной деревне» Б. Бахтина начинается приблизительно так (цитирую по памяти): «Когда государыня Елизавета Петровна отменила на Руси смертную казнь и тем положила начало русской интеллигенции...» То есть когда оппозиция государственной власти перестала физически уничтожаться и стала, худо ли, хорошо ли, скапливаться и искать себе в обществе бассейн поудобнее для такого скопления. Таким бассейном и оказался тот просвещенный и полупросвещенный слой общества, из которого потом сложилась интеллигенция как специфически русское явление. Оно могло бы и не стать таким специфическим, если бы в русской социальной мелиорации была надежная система дренажа, оберегающая бассейн от переполнения, а его окрестности — от революционного потопа. Но об этом ни Елизавета Петровна, ни ее преемники по разным причинам не позаботились.

Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 г. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским, практическим, а интеллигентским, критическим, — взглядом из-за ограды. Критический взгляд из-за ограды — ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, — естественное порождение русских исторических условий. Парламентская машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где власть была монопольна, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя — чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничества с

властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха — поступательства своими принципами.

Может быть, нервничанье интеллигенции о своем отрыве от народа было прикрытием стыда за свое недотягивание до Запада? Интеллигенции вообще не повезло, ее появление совпало с буржуазной эпохой национализма, и широта кругозора давалась ей с трудом. А русской интеллигенции приходилось преодолевать столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале. Щедрин жестко сказал о межеумстве русского человека: в Европе ему все кажется, будто он что-то украл, а в России — будто что-то продал.

«Долг интеллигенции перед народом» своеобразно сочетался с ненавистью интеллигенции к мещанству. Говоря по-современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид.

Противопоставляет она себя всем остальным людям — тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этим последним в XIX в. обычно называли «мещане» и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Это была часть того самоумиления, которому интеллигенция была подвержена с самого начала. Такое отношение несправедливо: собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. Когда в басне Менения Агриппы живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается; когда голова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния, однако об этом никто не написал басни.

Отстраненная от участия во власти и не удовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредотачивается на работе теоретической — на выработке национального самосознания. Самосознание, что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание своей отличности от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. (Какое самосознание было у Платона Каратаева?) Наконец, при достаточной широте кругозора, — о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому <• Интеллигенция — носитель национального самосознания> мы слышим часто, а «носитель христианского самосознания» (отменяющего нации) — почти никогда. А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном, давно уже стало главным «общечеловеческое».

Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу по самосознанию общества, то они вырабатывают науку социологию. Когда русские интеллигенты сосредотачиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое стремится смотреть извне системы (сколько возможно), второе — переживать изнутри системы. Первое рискует превратиться в игру мнимой объективностью, второе замкнуться на самоанализе и самоумилении своей «правдой». В отношениях с природой важна истина, в отношениях с обществом — правда. Одно может мешать другому, чаще — второе первому. При этом сбивающая правда может быть не только революционной («классовая наука», всем нам памятная), но и религиозной (отношение церкви к системе Коперника). «Самосознание» себя и своего общества как бы противопоставляется «сознанию» мира природы. Пока борьба с природой и познание природы были важнее, чем борьба за совершенствование общества, в усилиях интеллигенции не было нужды. Сейчас, когда мир, природа, экология снова становятся главной заботой человечества, должно ли измениться место и назначение интеллигенции? Что случится раньше: общественный ли конфликт передовых стран с третьим миром (для осмысления которого нужны интеллигенты-общественники) или

экологический конфликт с природой (для понимания которого нужны интеллектуалы-специалисты)?

«Широта кругозора*, сказали мы. Просвещение — абсолютно необходимая предпосылка интеллигентности. Сократ говорил: «Если кто знает, что такое добродетель, то он и поступает добродетельно; а если он поступает иначе, из корысти ли, из страха ли, то он просто недостаточно знает, что такое добродетель». Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком произвольно — опасное стремление. Что такое нравственность? Умение различать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для кого хорошо и для кого плохо? Здесь моральному инстинкту легко ошибиться. Даже если абстрагироваться до предела и сказать: «хорошо все то, что помогает сохранить жизнь, во-первых, человеку как существу и, во-вторых, человечеству как виду*, то и здесь между этими целями «во-первых» и «во-вторых» возможны столкновения; в точках таких столкновений и разыгрываются обычно все сюжеты литературных и жизненных трагедий. Интеллигенции следует помнить об этимологии собственного названия.

Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношениями к равным. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальное поведение. Мы видели, как критерий классической эпохи, совесть, уступает место двум другим, старому и новому: с одной стороны, это просвещенность, с другой стороны, это интеллигентность как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением. Лишь бы понятие «интеллигент» не самоотождествилось, расплываясь, с понятием «просто хороший человек», (Почему уже неудобно сказать «я интеллигент»? Потому что это все равно что сказать «я хороший человек».) Самоумиление опасно.

ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ

(дискуссия в журнале «Литературное обозрение». Эту заметку не хотели печатать, но оказалось, что именно ее выбрал для официального обличения М. Б. Храпченко, — пришлось напечатать)

Филология — наука понимания. Слово это древнее, но понятие — новое. В современном значении оно возникает в XVI—XVIII вв. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук — историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса — античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию: Энея — рыцарем, а Сократа — профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью — филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу.

Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично, в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас не похоже. Гуманизм многих веков сходился на том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансному аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях, но для каждой эпохи эти

вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание такого рода — дело несложное: чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютчевым, нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец, а Тютчев — монархист. Но ведь наслаждение и понимание — вещи разные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно, лишь преодолев историческую дистанцию; и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология.

Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, — учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям «как к живым людям»; филолог этого права не имеет, он обязан разложить такое отношение на составные части — на отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом (я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя — одинаково со стороны и одинаково критически.

Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? — потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: «ведь они адресованы не мне». Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает «Евгения Онегина», «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике.

Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чужого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал — не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо — настоящее, неискривленное. Если же смотреть только на изображение («идти по ту сторону слова», как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя.

За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературоведение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думается, что это не случайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы, и даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках «Словарь языка Пушкина»), стилистическом (такой словарь уже начат для поэзии XX в.), образном (на основе частотного тезауруса: такие словари уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы).

Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей.

И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед литературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода: лингвист различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего отделить хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хороших. «Филология» значит «любовь к слову»: у литературоведа такая любовь выборочней и пристрастнее. От пристрастной любви страдают и любимцы и нелюбимцы. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко! Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом — нравственный долг каждого, а филолога — в первую очередь, Ю. М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны в филологии не только ее путь, но и ее цель: она отучает человека от духовного эгоцентризма. (Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки — не заноситься.) Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру.

ПРИМЕЧАНИЕ ПСЕВДОФИЛОСОФСКОЕ

(из дискуссии на тему «Философия филологии»)

Прежде всего, мне кажется, что формулировка общей темы парадоксальна. (Может быть, так и нужно.) Филология — это наука. А философия и наука — вещи взаимодополняющие, но несовместимые. Философия — это творчество, а наука — исследование. Цель творчества — преобразовать свой объект, цель исследования — оставить его неприкасаемым. И то и другое, конечно, одинаково недостижимо, но эти недостижимые идеалы диаметрально противоположны.

Философия филологию может только разъесть с тыла. Точно так же, впрочем, как и филология философию. Тот тыловой участок, с которого филология разъедает философию, хорошо известен: это история философии, глубоко филологическая дисциплина. Не случайно оригинальные философы относятся к истории философии с нарастающей нервностью, потому что на ее фоне любые притязания на оригинальность сразу выцветают. Поэтому естественно, что и философия ищет для себя в тылу науки такой же надежный плацдарм. Он и называется «философия филологии», «философия астрономии» и т. д., по числу наук. Располагая такими позициями, философия и филология могут сплетаться садомазохистским клубком сколь угодно долго. Очень хорошо — лишь бы на пользу.

Есть предположение, что филология не просто наука, а особенная наука, потому что предполагает некоторое интимное отношение между исследователем и его объектом. Об этом очень хорошо писал С. С. Аверинцев. Я думаю, что это не так. Конечно, интимное отношение между исследователем и его объектом есть всегда: зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы. Вот с такой же интимностью и филолог относится к Данту или

Дельвигу, но не более того. Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания; можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог, это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? — вот в чем должен он дать отчет, если он человек науки.

Филология — это «любовь к слову*», Что такое слово? Мертвый знак живых явлений. А явления эти располагаются вокруг слова расходящимися кругами, включающими и биографию писавшего, и быт, и систему идей эпохи — все, что входит в понятие «культура». Каждый исследователь выбирает то направление, которое его интересует. Но вначале он должен правильно понять слово: «в таком-то написании, в таком-то сочетании, в таком-то жанре (оды или полицейского протокола), в такой-то стилистической традиции это слово с наибольшей вероятностью значит то-то, с меньшей — то-то, с еще меньшей — то-то, и т.д.» А эту наибольшую или наименьшую вероятность мы устанавливаем, подсчитав все контексты употребления слова в памятниках данной чужой культуры. С чего начинается дешифровка текстов на мертвых языках? С того, что Шампольон подсчитывает, как часто встречается каждый знак, и в каких сочетаниях, и в каких сочетаниях сочетаний. С этого начинается и филология, поскольку она хочет быть наукой. В этом фундаменте филологических исследований, как мы знаем, сделано пока ничтожно мало. Поэтому жаловаться на «исчерпанность филологической концепции слова» никак нельзя. Жаловаться нужно на то, что практическое развертывание филологической концепции слова еще не начиналось. Когда оно произойдет, тогда мы и увидим, на что способна и на что неспособна филология.

В частности, «способна ли филология производить новые смыслы, новее знание или только устанавливать уже существующие смыслы текстов»? Ровно в такой же степени, как всякая наука. Планета Нептун существовала и без Лавуазье, Лавуазье ее только открыл: было ли это установлением уже существующего или производством нового знания? Семантика пропусков ударения в 4-ст. ямбе Андрея Белого существовала, хотя он сам себе не отдавал в ней отчета; ее открыл Тарановский — было ли это установлением существующего или производством нового? Новое знание и новые смыслы — разные вещи. Новое знание — область исследовательская, этим занимается наука; новые смыслы — область творческая, этим занимается критика. Это критика вычитывает из Шекспира то проблемы нравственные, то проблемы социальные, то проблемы психоаналитические, а то вовсе выбрасывает его за борт, как Лев Толстой. Наука рядом с нею лишь дает отчет, какие из этих смыслов вычитываются из Шекспира с большей, меньшей и наименьшей вероятностью. Такая охрана памятников старины — тоже нужная вещь. Понятно, при этом критика как область творческая работает в задуманном альянсе с философией, а наука держится на дистанции и только следит, чтобы они не применяли неевклидовы методы к таким словесным объектам, для которых достаточно евклидовых. Творческий деятель стремится к самоутверждению, исследователь — к самоотрицанию. Мне лично ближе второе: мне кажется, что в самоутверждении нуждается только то, что его не стоит. Творчество необходимо человечеству, но при полной свободе оно просто неинтересно. В материальном творчестве нужное сопротивление материала обеспечивает сама природа, а законы ее формулирует наука естествознание. В духовном творчестве эти рамки для свободы полагает культура, а обычаи ее формулирует наука филология. Диалог между творческим и исследовательским началом в культуре всегда полезен. (Конечно, — как всегда — диалог с предпосылкой полного взаимонепонимания.) По-видимому, таков и диалог между философией и филологией. Пусть они занимаются взаимопоеданием, только так, чтобы это не отвлекало их от их основных задач: для творчества — усложнять картину мира, для науки — упрощать ее.

ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

(для журнала «Наше наследие»)

Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий. В. О. Ключевский

Словосочетание «Наше наследие» означает «наследие, полученное нами от предков» и — «наследие, оставляемое нами потомкам». Первое значение — в сознании у всех, второе вспоминается реже. На то есть свои причины.

Спрос на старину — это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт семидесяти советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат — осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново — никто не знает, только спорят. Но что такое осадить назад, очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений давно отработана русской историей.

На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России исключительно, настоящее — великолепно, будущее — неопишимо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось — как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно, не все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак приходится заботиться. У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат; Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу — Любовь к родному пепелищу: Любовь к отеческим гробам [На них основано от века, По воле Бога самого, Самостоянье человека, Залог величия его.] Животворящая святыня! Земля была б без них мертва, Как... пустыня И как алтарь без божества. При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое самим Пушкиным, — вероятно, цитирующим льстят слова «самостоянье» и «величие». Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен «отеческий гроб» его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто ли навещал могилу.

Культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. В. Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. Десять с лишним лет назад была элитарная Тыняновская конференция в Резекне, местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхвачен мгновенно. («Чтобы дарить вместо взяток», смущенно объясняли купившие.) Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: люди читают меня, потому что плохо знают русскую историю. Он был прав: лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где (боюсь) о нем вообще не упомянуто. Массовая культура — это все-таки лучше, чем массовое бескультурье.

В Москве перебрали старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрации не получилось: в новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом — весьма специфическим и весьма органичным, как знает каждый москвич. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 1980-х гг. Потом заново выстроили храм Христа Спасителя — здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый старый Арбат, только вдесятеро дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне — насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было, так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей.

Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась

достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы в XVIII веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля — со сносом москворецкой стены, с парадным, во всю ширь, спуском к Москве-реке и т.д.? В центре Москвы появилось бы нечто совсем не похожее на то, что мы видим сегодня, но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас — существующим стенам и башням, ибо они освящены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши постройки, которым сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого.

Историки античности знают, когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном, Греческая эпитафия
